

**ЗАХАР
БОТИНКИ, ПРИЛЕПИН**

**ПОЛНЫЕ
ГОРЯЧЕЙ
ВОДКОЙ**

БОТ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

**ИНКИ,
ПОЛНЫЕ
ГОРЯЧЕЙ
ВОДКОЙ**

**ПАЦАНСКИЕ
РАССКАЗЫ**



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П76

Художественное оформление:

Андрей Бондаренко
(Захар Прилепин: проза (м))

Екатерина Ферез
(Эксклюзивная новая классика)

Прилепин, Захар.

П76 Ботинки, полные горячей водкой : пацанские рассказы / Захар Прилепин. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. — 254, [2] с.

ISBN 978-5-17-095123-9 (Эксклюзивная новая классика)
ISBN 978-5-17-109921-3 (Захар Прилепин: проза (м))

Захар Прилепин — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санька», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Восьмерка», «Грех» и «Семь жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки» и «Не чужая смута».

«Ботинки, полные горячей водкой» — сборник увлекательных брутальных новелл: мастерски написанных, порой трагических, порой необычайно смешных. Двенадцать историй про «настоящих пацанов», про дружбу и предательство, испытания тюрьмой и войной. И — любовь к жизни во всех ее проявлениях.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095123-9
(Эксклюзивная новая классика)
ISBN 978-5-17-109921-3
(Захар Прилепин: проза (м))

© Захар Прилепин
© Андрей Бондаренко
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Жилка	7
Пацанский рассказ	23
Славчук	47
Блядский рассказ	70
Герой рок-н-ролла	86
Собачатина	116
Ботинки, полные горячей водкой	134
Смертная деревня	152
Убийца и его маленький друг	178
Верочка	200
Дочка	236
Бабушка, осы, арбуз	243

ЖИЛКА

— Ты жестокий, безжалостный, чёрствый, ледяной. Ты врёшь, всё, всегда, всем, во всём. Ты не любишь меня, ты не умеешь этого.

Потом, много лет спустя, к словам «я люблю тебя» всегда начинает крепиться подлое «но». Я люблю тебя, но. И я тебя люблю. Но...

И действительно — любят. Но ты слишком часто обижал меня. Но ты слишком много оскорбляла меня.

— Уйди! Уйди из этого дома!

Мне всё равно надо было уходить, и я вышел за дверь. Она громко захлопнулась у меня за спиной и сразу хрустнула вслед, как передавленной костью, с остервенением закрытым замком.

Я дошёл, потирая лоб, до соседнего дома и набрал телефонный номер своей жены.

— Послушай... — успел сказать я.

— Иди отсюда скорей. Тут приехали в штатском и в форме, ломятся в дверь, требуют тебя.

Я занимаюсь революцией. Знаю, что ко мне могут прийти. Я ожидал их вчера, у меня были для этого основания: моего товарища увезли в другой город с обвинением в терроризме. Но вчера они не пришли, и я забыл о них. Думать о них всё время — можно сломать себе мозг.

Не сходя с места, я разобрал мобильный телефон, зафиксировав сигнал которого, меня уже не раз находили — значит, могут найти и сегодня; покурил, но, ничего так и не решив, быстро пересёк улицу, сел в первый попавшийся троллейбус и поехал.

Троллейбус прошелестел мимо моего дома. Окна моей квартиры были пусты и спокойны. Стекло не отражало ничьих лиц.

На улице была весна, был май, было прозрачно.

Некоторое время я ехал в странном оцепенении, почти не напуганный, поглаживал свои сухие ладони пальцами — сначала одну ла-

донь, потом другую. Троллейбус катился полупустой, и я сидел у окна. Слышалось быстрое скольжение шин.

Я начал разглядывать пассажиров, они были удивительно далеки от меня, словно мы неумолимо разъезжались в разные стороны. Их лица не то чтобы плыли — скорей никак не могли запечатлеться на сетчатке глаза. Вот сидит мальчик, вот я перевожу взгляд — и нет мальчика, и я никогда не вспомню, как он выглядел. Вот встаёт бабушка, я только что смотрел на неё, но она вышла, и никто не заставит меня рассказать, каким было её лицо.

Мир стал тихим и струящимся мимо, а я каменел, оседая на дно.

Троллейбус вёз меня, будто я камень.

Мы проехали мост. Площадь. Перекрёсток.

Высокое солнце припекало лоб; на улице ещё было прохладно, а в троллейбусе по-летнему тепло и душно. Я не люблю солнечного света, если рядом нет большой, обильной холодной воды. Дома я стараюсь держать шторы закрытыми и жечь электрический свет.

Но сегодня солнце мне показалось нежным, таким нужным мне.

Я расслабил мышцы лица и спустя время, две или три троллейбусные остановки, понял, что щёки мои и лоб становятся мягкими, как глина. Из этой глины можно лепить новое лицо, новый рассудок.

Я жестокий. Чёрствый и ледяной. Я умею соврать, сделать больно, не чувствовать раскаяния. Я получаю по заслугам, получаю по каменному лицу; но там, где должен быть камень, уже глина, и она ломается, осыпается, оставляет голый костяной остов. Чёрствый, и ледяной, и мёртвый.

И только одна жилка живет на нём и бьётся последней тёплой кровью.

Мы начинали жить так: смешавшись, как весенние ветви, листья, стебли. Однажды мама моей жены вошла ранним утром к нам в комнату и увидела нас. Мы спали. Это было самой большой нашей тайной: как мы спали. Другие тайны теперь кажутся смешными.

Потом, уже в полдень, мама моей жены сказала: «Я не знала, не думала, что такое бывает».

Мы лежали лицом к лицу, переплетённые руками и ногами, щека ко лбу, живот к животу, лодыжка за ляжечку, рука на затылке, другая на позвонке, сердце в сердце. Мы так спа-

ли всю ночь, из ночи в ночь, месяц за месяцем. Если б нас решили разорвать, потом бы не собрали единого человека.

Спустя годы, быть может, несколько лет, уставшие, измученные жизнью и суетой, мы стали отдаляться. Нам становилось тесно, душно, дурно. Только прикасались руками, лодыжками, иногда обнимались — вернее, я обнимал её, — но она отстранялась во сне, уставшая, почти неживая. Я помню это ночное чувство: когда себя не помнящий человек чуждается тебя, оставляя только ощущение отстранённого тепла, как от малой звезды до дальнего, мрачного, одинокого куска тверди. И ты, тупая твердь, ловишь это тепло, не вправе обидеться.

Поднимаясь утром, мы старались восстановить растерянное за ночь: улыбкой, взглядом, пониманием того, что судьба неизбежна, неизбывна, непреложна. И всё крепилось заново: тёплое, терпкое, тесное.

За окном проносились авто, в каждом из которых сидела душа чуждая, как метеорит. Как много в мире чужого тепла, о которое не согреться.

Потом мы пили чай на кухне.

Окно этой кухни я видел полчаса назад, проезжая в троллейбусе. Я не хотел никого

там увидеть: ни её, ни пришедших за мной в майский день, чтобы лишить меня тепла, простора, мая — и надорвать последнюю жилку.

Где теперь мой друг, подумал я, куда его повезли? Скоро ли меня привезут к нему, подумал я.

Мой друг носил замечательное и редкое имя — Ильдар Хамазов. Его, конечно же, все звали Хамас.

Последнее время мы часто выпивали вместе, у меня водились деньги, я мог себе позволить. Пиво и водка, иногда ещё спирт или глинтвейн — мне нравится смешивать разные напитки, я долго не пьянею и не очень знаю, бывает ли у меня похмелье, потому что с обеда следующего дня начинаю понемногу выпивать снова. Это не сказывалось на работоспособности моей и Хамаса, мы делали свои дела ещё суровой и веселее.

Он был большого роста, широк в плечах, замес восточной по отцу и русской по матери крови сотворил красивого, внятного, честного человека.

Он выглядел добродушным и обаятельным. Всегда в чистой одежде, без единого мужского запаха, розовый и улыбчивый, как будто толь-

ко что отменно поспал, бодро умылся, лихо начистил зубы и вышел из ванной к хорошим гостям: белая улыбка на большом лице.

В нём присутствовали черты, которые так симпатичны мне в людях мужеского пола: он был совершенно равнодушен к деньгам, мог сорваться и приехать на помощь в любое время дня и ночи, никак не выказывал больного и суетливого интереса к женщинам и никогда о них не говорил.

Он равно не был похож ни на похотливых сынов Востока, ни на недавнюю породу русских мужиков, которые только так и думают о себе — как о натуральных мужиках, с двумя тяжёлыми «ж» посередине.

Мужик в представлении этой породы всё время должен быть вроде как расслаблен, но на самом деле мучительно напряжён, даже чуть-чуть набычен в неустанных попытках профильтровать каждое обращённое к нему слово: а не содержится ли в этом слове некий подвох, некое сомнение в том, что он мужик, он мужик, он муж-жик, блядь?

С ними и вести себя надо подобающим образом: мол, и я той же самой породы, смотри, как я несу своё внешне почти неприметное, но внутри тяжёлое, как чугунные яйца,

достоинство. О, как его несу. Только тронь его, сразу узнаешь, сколько во мне чугуна.

Я так умею, много раз так делал, это не-сложно, только надоедает быстро.

А Хамас, да, был совсем не такой. Я чувствовал себя очень просто с ним, и ему, уверен, было также хорошо.

Выпивая или не выпивая, мы что-то рассказывали друг другу о себе, с такой ласковой добротой, с таким нежным вниманием — подобное, помню, было только в пацанском возрасте, когда лет в двенадцать, после хорошей рыбалки, после красивого и пышного дождя, от которого спасали хлёсткие, ненадёжные кусты, мы шли с навек забытым товарищем по нестерпимо красивому лугу, и огромная радость мира чуть ли не в последний раз сделала нас хорошими, честными, весёлыми, совсем-совсем не взрослыми.

И вот это ощущение возвращалось, и мы, говорю, рассказывали о себе — а потом друг о друге — только хорошее, и вовсе без желания подольститься. К чему нам это — нам ни к чему. Нам нечего было взять друг у друга и нечего предложить.

Мы водили вместе, вдвоём — страстные, бесстрашные колонны пацанвы по улицам

самых разных городов нашей замороченной державы, до тех пор пока власть не окрестила всех нас разом мразью и падалью, которой нет и не может быть места здесь.

Я сидел в троллейбусе и ловил себя на том, что глиняное моё, из сырой и свежей глины, лицо расплзлось в улыбке при воспоминании о Хамасе.

«Было бы славно, если бы он сидел сейчас тут, в троллей...» — начал я и запнулся посредине мысли.

На очередном повороте гончарного круга улыбку стёрли с лица моего, и я сказал себе, что никого, никого, никого мне не надо сейчас.

«Хамас, прости меня».

Мне всегда казалась странной присказка о смерти, которая хороша на людях. А я не хочу ни гибели, ни другой боли прилюдной. Животные куда умнее, они хоть и совокупаются бесстыдно, зато подыхать уползают в тайные углы.

Я не очень хотел разделять с миром своё счастье в иные времена, да и кому оно было нужно, но и унижением никогда делиться не хотел. Я ни разу не звал свою любимую на красно-чернознамённые шествия: мне не хо-